



Нина Шамарина

Прозаик. По образованию — химик-технолог. Родилась в Подмоскowie, с юности жила, училась и работала в Москве. Член Союза Писателей России, автор двух изданных книг, еще две готовит к публикации.

В темноте

Амирам возвращался с кладбища. Год прошел с тех пор, как умерла его жена, но Амирам никак не мог к этому привыкнуть. Вот и сейчас, глядя на свои ботинки, перепачканные землей и глиной, мысленно оправдывался перед женой и тут же одергивал себя:

— Полно, Амирам, ты же с могилы Людмилы и едешь. Нету никого дома, никто не заметит твоих грязных ботинок, кроме тебя самого.

Амирам трогал ворот вязаного женой свитера. Людмила вязать любила, приговаривая, что «для хорошего человека вязать — одно удовольствие». На полке в шкафу аккуратно сложенными лежат свитера: серый, черный, нарядный белый. На всех — косы и еще араны. Перед тем, как взяться за новый свитер, Людмила показывала Амирану эти самые араны, которые, перекликаясь с его именем, привносили в ее подделки дополнительный тайный, никому, кроме них, не ведомый смысл.

У Амирама всегда отрастали длинные волосы. Иногда он схватывал их резинкой в низкий хвост, а Людмила, хохоча, заплетала его в косичку. Тогда косичек мужчины не носили, эта мода пришла лишь сейчас, когда волос у Амирама почти не осталось. Он по-прежнему стягивал их остатки резинкой. Низкий хвост пегого цвета выглядывал из-под шапки, и окружающим казалось, наверное, что волос у Амирама много, но грелась под черной шапкой обширная лысина. Да что ему за дело до окружающих? И какое дело окружающим до Амирама? Сидят, уткнувшись в свои телефоны. А Амирану мобильник так и не пригодился, хотя он и носил его с собой, почти им не пользуясь. Людмиле звонить с работы ни к чему: он заканчивал ровно в шесть и через десять минут уже

открывал дверь своей квартиры. Зачем звонить? По выходным они не расставались, и телефон опять не был нужен. Но пунктуальный Амирам каждый вечер заряжал его, как когда-то заводил настенные часы.

И лишь однажды телефон мог, наверное, сослужить службу Амирам. Или не мог? В тот день ровно в три директор собрал руководителей отделов на совещание, и Амирам, явившись в зал минута в минуту, оставил трубку в ящике стола. Когда он вернулся, на дисплее светились пропущенные звонки: один с домашнего номера и один с мобильного жены. Амирам тут же перезвонил и, слушая однообразные гудки и по тому, и по другому номеру, встревожился. Придя домой в тишину квартиры и прочитав записку: «Увезли на скорой», поспешил в больницу, но Людмилу живой не застал. Потом в суете похорон, в оглушительной пустоте последующих дней, даже сейчас, когда прошел целый год, Амирам не давал покоя тот единственный и, получилось, последний звонок его жены. Что она хотела ему сказать?

Сейчас Амирам придет домой, перво-наперво почистит ботинки, потом согреет чай и, не снимая зеленого свитера, подойдет с кружкой к фотографии смеющейся жены. И, заново вглядываясь в веселые глаза, будет спрашивать: «Почему ты молчала, Людмила?»

— Как ты вырос, Амка! — говорила мама, глядя Амирама по голове.

За лето в пионерском лагере волосы сильно отрастали, висели прямыми блестящими прядями, делая его лицо еще более узким и вытянутым. С такой прической Амирам красовался весь сентябрь, несмотря на записи в дневнике и даже вызовы к директору. Шел в парикмахерскую лишь тогда, когда противостояние с классной обещало перерасти в вызов в школу родителей.

Родители Амирама были слепыми: отец — абсолютно, а мама признавалась в их дворе зрячей — у нее сохранялось пятьдесят процентов зрения. Их девятиэтажный дом назывался в округе «Дом слепых», в нем давали квартиры тем, кто работал на «УПП ВОС»¹. Ни Амирам, ни кто-либо из его дворовых друзей не видели особой разницы между слепыми и зрячими. Их отцы так же, как любые другие, ходили на работу, а по вечерам забивали во дворе «козла», настолько быстро пересчитывая количество меток на доминошках чуткими пальцами, что никто из соседних дворов играть с ними не садился. Мамы почти все оставались дома, на хозяйстве: обед, стирка, уборка. В квартире, как ее сейчас вспоминал Амирам, довлели чистота и порядок. Все вещи лежали и стояли строго на своих местах, будь то огромный диван в комнате родителей

¹ Учебно-производственное предприятие Всероссийского Общества Слепых.

или стакан с карандашами на письменном столе у Амирама. И еще — очень тихо, как будто не слепые в ней жили, а глухонемые: редко звонил телефон, едва слышно бубнило радио под потолком. Мама читала книги — свои специальные, в которых Амирам ничего не понимал. Если он не хотел делать уроки и вместо упражнений по русскому смотрел в окно, мама произносила тихо:

— Пиши, Амка, о чем думаешь?

В детстве все это совсем не удивляло Амирама — так он жил всегда, так жили его друзья. Это потом, во взрослой жизни, когда все делал по дому сам, по обыкновению, годами не сдвигая вещи с привычных мест, методично складывая вилки в правый кармашек подставки, а ложки — в левый, он оценил каждодневные сложности жизни родителей. Однажды сели ужинать. Отец скупым движением взял правой рукой нож, а левая не нащупала вилки. Мама запомнила, не положила. Отец окаменел. И вдруг заверещал тонким голосом на одной ноте: «И-и-и!» Амирам замер на секунду, а потом, метнувшись к кухонному шкафчику и выхватив оттуда вилку, стал лихорадочно пихать ее в руку продолжавшему кричать отцу. Мама, вскочив, прижала вилку в Амировой руке к столу и с усилием накрыла злосчастный столовый прибор отцовской рукой. Тот сразу успокоился, и лишь капли пота, выступившие на лбу, напоминали о минутной истерике.

Мама погладила по плечу отца Амирама, и ужин продолжался, как ни в чем не бывало, даром что Амирама была дрожь, и он не чувствовал вкуса любимых «ежиков».

Много лет Амирам помнил охвативший его тогда ужас, осознавая с того дня, что вещи на привычных местах для отца — не только удобство, а как маяк для заблудившегося моряка, как веревка для альпиниста, как яркий свет в его темноте.

Диковинное его имя не находилось ни в словарях, ни святцах, куда заглядывал Амирам, надеясь уяснить, что оно означает или как переводится. Вовка из его класса с гордостью замечал, что он-де, Владимир — владеет миром, а Галка Смирнова подтверждала значение своего имени «тишь, спокойствие», постоянно задремывая на уроках. Ребята дразнили Амирама «джигитом», да и сам он удивлялся: Амирам Александрович Николаев — каково?

Рассказал отец:

— Матери, с ее зрением, рожать было рискованно, да и я к тому времени уже в полной темноте жил («в темноте» — так они говорили, разделяя темноту на «полную», «почти темноту» и «едва в темноте»). Да у нее еще какие-то болячки нашлись... Короче, чуть на тот свет вместе с тобой не отправилась. Врачица спасла, Анна Михайловна. Но не

называть же тебя Анной? — отец мелко смеялся. — Вот и назвали по прежней моде, что еще до твоего рождения утвердилась. Тогда-то каких только имен не выдумывали! Владилен — это сокращенно Владимир Ильич Ленин, Мэлс — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Ну, и мы имя спасительницы нашей сократили: она — Анна Михайловна Раменская, вот и получился АМиРам. Красиво, согласись!

И еще отец уверял, что видит иногда.

— Мне повезло, — говорил он, — я вижу свет. Если лампа горит, я вижу белое пятно, некоторые и этого не видят. И еще, — отец понижал голос до шепота, — я маму твою вижу. От нее тоже свет исходит! Не знаю, как это объяснить. Я, когда на нее смотрю, вот как на тебя сейчас (отец поворачивал к Амираму лицо), желтый свет различаю — мягкий, теплый.

Лет с двенадцати летними месяцами, исключая один, проводимый в лагере, Амирам работал с отцом на комбинате. Работу ему давали несложную — собирать пластмассовые выключатели и розетки, нанизывая отдельные детальки на маленькие винтики — но сдельную. Сидя за длинным столом рядом с дядей Васей, жившим в «полной темноте», Амирам мог едва-едва выполнить норму, в отличие от того же дяди Васи.

— Не суетись, малец, — говорил ему наставник, — спешка нужна при ловле блох. А тут точность главное и порядок.

И вот эти порядок, точность и тишину сохранял Амирам в своем доме, в своей работе и в своей жизни.

Повзрослел Амирам в одночасье. Он в июне отгулял выпускной, на котором уже под утро, когда побрели все вместе встречать восход в Крылатское, увидел, как Таня, любимая одноклассница, целуется с Сережкой Соловьевым, и поклялся себе, что никогда не женится. А в середине июля отца сбила машина, когда он переходил Молодогвардейскую. Шел на работу, как делал это изо дня в день, из года в год, и белую трость держал в руке, при том что дорогу знал наизусть. Чтобы видели — идет слепой. Но водитель не увидел. Его осудили потом, когда и мама уже угасла. Сорок дней после смерти отца она, сгорбившись, сидела на стуле, почти не ела, почти не спала. Не плакала, но как будто таяла, становилась прозрачной. Амирам тормозил ее, как мог, но она лишь трогала его волосы невесомой ладонью, а на сороковой день тихо прилегла на нерасстеленную постель, прямо на белое покрывало, почти сливаясь с ним, да так больше и не поднялась.

Единственная радость среди этих бед — Амираму уже исполнилось восемнадцать, так что детдом ему не грозил. В тот день как раз и стукнуло, когда Таню обнимал Сережка. Как давно это произошло, в прошлой

жизни. Армия с его «минус шестью» над Амирамом не висела. А жаль! «Воевал» бы он сейчас с удовольствием, бил, крушил и ломал бы, своему сдержанному и незлобивому характеру вопреки.

Квартиру Амирам поменял. Не без труда купил газету по обмену. Варианты его практически не интересовали: лишь бы подальше отсюда, от этого дома, где каждый незрячий взгляд в его сторону сочувствовал, любой пыльный куст под окном помнил его родителей, а всякая вещь в доме, до последней тряпки для уборки, хранила прикосновение материнских рук.

Так Амирам оказался один на улице Авиамоторной. Работу, как и квартиру, искать пришлось недолго. На той же Авиамоторной улице находился исследовательский институт. Амирама взяли в тот же день, что он пришел в отдел кадров, в КИПиА², и работа стала «под рост» его характеру. Здесь его некоторое занудство обернулось дотошностью, а точность в движениях и аккуратность, которым учил его когда-то дядя Вася, пришлись как нельзя кстати.

И потянулись монотонные месяцы и годы. В любое буднее утро Амирам в 9:25 приходил в институт. Просматривал журнал вызовов, ходил по лабораториям, что мог — исправлял на месте, приборы, требующие более сложного ремонта, уносил к себе в мастерскую. Обедал в институтской столовой, после обеда и до конца дня сидел в мастерской, отлаживая сбившиеся весы, неисправные фотоэлектрокалориметры и спектрофотометры.

После работы — домой. Ужин, книжка, телевизор. Суббота вся уходила на уборку и очереди в магазинах, воскресенье — кино, изредка театр (в институте распространяли билеты). Крайне редко появлялись друзья из прошлого. В настоящем друзей Амирам не завел, а в свой двор «Дома слепых» ни разу не захаживал. Каждый вечер Амирам заводил будильник, но просыпался всегда сам, чуть-чуть раньше его звонка. Не открывая глаз, прислушивался к знакомым звукам, если слышал новые, пытался определить, откуда они исходят, представляя себя слепым, непонятно зачем.

В институте, где в основном работали женщины, лаборатории полным-полны были девчонок-лаборанток. Конечно, Амирам, с длинными блестящими волосами, в чистом отутюженном синем рабочем халате, в очках с тонкой золотистой оправой, не мог остаться незамеченным. Даже некоторые суховатые ученые дамы посматривали на него с тайной надеждой, что уж говорить о лаборантках. Особенно доставала его одна, даже оформляла ложные вызовы. Придет Амирам, проверит — в порядке весы.

² КИПиА — Контрольно-измерительные приборы и аппараты.

— Продолжайте работать, — скажет, и пойдет себе в мастерскую, чувствуя спиной расстроенный взгляд.

Девчонка никак не могла понять, что она целиком и полностью не во вкусе Амирама. Всего в ней чересчур: сдобные формы, грудь, вываливающаяся из белого халата, под которым у нее единственно нижнее белье, порывистые движения, громкий смех. Однажды Амирам увидел, как она берет крошечные миллиграммовые гирьки аналитических микровесов рукой, а не пинцетом, что привело его в такое негодование, что с тех пор ни о какой душевной тяге к этой девушке не могло быть и речи.

Нет, нельзя сказать, что Амираму не хотелось жениться. Таня давно перестала волновать, забылась и клятва, данная себе сгоряча. Уже в юности, оказавшись по своей воле в глухом одиночестве, как «в темноте», в которой жили когда-то его родители, Амирам мечтал найти родную душу, привести ее в свою квартиру. Но эта «родная душа» грезилась такой же, как мама: спокойной, молчаливой, аккуратной, готовой жить по правилам Амирама, которые он выучил в своей семье; теперь, когда жизнь перевалила за тридцать, эти правила стали частью его самого.

Как-то раз Амирам заглянул на «Новогодний вечер», который проводился в актовом зале в последний рабочий день декабря. Из динамиков лился «медляк», обнимались пары — те же лаборантки с шоферами и механиками. Амирам, еле выдержав полчаса (слава богу, ни разу за это время не объявили «белый танец»), сбежал домой.

Однажды, покупая «Вечерку» в киоске, Амирам неожиданно для себя купил толстенькую, непривычного формата газету «Из рук в руки». Дома полистал из интереса. Подивился тому, как много люди продают и покупают, ищут работу, обмениваются монетами и книгами. И, наравне с продажей сапог и предложением отремонтировать ванную комнату, в газете размещались объявления о поиске женщин и мужчин. Это так взбудоражило обычно невозмутимого Амирама, что он, отложив газету, прошелся по коридору туда и обратно, а потом, подойдя к кухонному окну и глядя на освещенный холл института, постоял, успокаиваясь и размышляя.

Амирам не умел мечтать. Он считал, что мечту часто путают с целью. Но достичь цели — это скучно и прагматично, а мечтать — это «в твоей душе живет ребенок».

— Если мечтаешь прыгнуть с парашютом, что мешает тебе это сделать? Или дом, предположим, купить на берегу океана, — сказал бы Амирам, если б его спросили.

Все возможно, рассуждал он, если поставить перед собой цель и идти к ней.

Цель становится мечтой, когда она недостижима в силу не зависящих от тебя причин, ну, например, шагать по облакам, да еще и откусывать от них!

Говорят, добро должно быть с кулаками. Так и с мечтой: работай на свою мечту, и она обязательно сбудется. В этом Амирам был убежден.

А вот сейчас, стоя у окна, размышлялся. Представил женщину небольшого роста с темными короткими волосами и глубокими карими глазами, худенькую и бледную. Она ходит по кухне, читает те же книги, что и он, так же, как и он, любит тишину и устает от большого количества шумных людей.

Вернулся, почитал объявления от женщин. Требования их к мужчинам вполне приземленные: непьющий (наверное, это имелось в виду под словами «без вредных привычек»?), любящий детей (щепетильный Амирам и здесь увидел двойной смысл: вероятно, соискательницы — с детьми), непременно высокий и стройный, с хорошим заработком. Все эти качества у Амирама присутствовали, однако по части «хорошего заработка» он никогда не задумывался. В конце всех объявлений указывался «абонентский ящик номер...» и примечание: «фотография обязательна».

Назавтра Амирам сходил на почту и оплатил абонентский ящик на полгода. Отпущенный самому себе срок — как обещание того, что за эти полгода он найдет такую женщину, которая так же незаметно и бесшумно, как когда-то мама, будет хозяйничать в его квартире. Зашел в фотостудию. Фотограф долго выпытывал, какая фотография ему нужна, если не на паспорт. Потом, гаденько улыбаясь, спросил: «Для газеты знакомств?» Но фотографию через три дня выдал хорошего качества, по размеру точно подходящую для конверта.

Дома Амирам еще раз прочел все объявления от женщин о поиске «серьезных отношений», выделив те из них, где о детях ничего не говорилось. Потом, поколебавшись, вычеркнул объявления с возрастом претенденток до тридцати лет и те, в которых искали «мужчину постарше». Папочкой никому он становиться точно не хотел. В результате осталось две подходящих Амираму дамы. Последнюю точку он поставил, оттолкнувшись от имени, и выбрал Людмилу. «Амирам и Людмила» — слышалось в этом сочетании нечто сказочное и элегантное одновременно.

Людмила писала, что отличается ровным и незлобивым характером, вдова, проживает в своей квартире.

Людмила уронила голову на стол, на белый лист, исписанный размашистым почерком ее сына, и завывала в голос. Сторонний наблюдатель,

если б таковой оказался, сказал бы, что Людмила упала на стол несколько театрально, но не случилось рядом никого, кто бы мог это сказать.

Сын писал, что домой после службы не возвращается, будет жить в Находке, где он уже почти женился, и это означало лишь то, что Людмила снова останется одна. Это проклятое ненавистное одиночество, против которого она восставала всем своим нутром, шло с нею рука об руку всю ее жизнь. Рано лишившись матери и приехав в Москву, Людмила устроилась на «ЗИЛ», получила место в общежитии.

Эту свою общажную жизнь она вспоминала как самое лучшее время: в комнате на десять человек всегда кто-то дышал и двигался, кто-то всегда околачивался рядом, пусть молчком, пусть с книжкой, пусть даже спящий.

Быстро выйдя замуж, Людмила так же быстро оказалась почти одна, с маленьким сыном в придачу. Муж очень скоро умер от разрушенной печени, оставив Людмиле, кроме ребенка и комнаты в коммуналке, муторные воспоминания о своей развеселой жизни, так рано закончившейся.

И вот теперь, проведя два долгих года, что называется, у окошка, мечтая, как женится вернувшийся сын, «нарожает» детишек, она получила это письмо.

Назавтра у Людмилы наступал день рождения, и это добавляло в ее рыдания трагичных нот. Снова справлять свой день рождения самой с собой казалось невыносимым.

Избавление пришло с неожиданной стороны. Позвонила жена директора (а работала Людмила кладовщицей в крошечной фирмочке) и сказала, что они приедут, если Людмила не возражает. Людмила не возражала, не поняв, правда, кто это — «они», и сколько их будет.

Утром следующего дня стол был накрыт на шестерых (по количеству тарелок в сервизе). К водочке в хрустальном графине подавались холодные закуски: грибочки собственноручной засолки (исключительно опята), маринованные огурцы, помидорчики в собственном соку, холодец (боялась, что не застынет, два раза ночью бегала проверять на балкон), селедка под шубой и, конечно, салат «Столичный» (почти как «Оливье», но с курицей, а не с колбасой).

Гостей приехало двое: жена директора Ольга и Татьяна — главный бухгалтер, Людмила смущалась и робела. Но девчонки оказались мировыми. В какой-то момент Людмила расплакалась-таки, жалуясь на одиночество. Гости уважительно помолчали, а потом Ольга вдруг сказала:

— А если жениха тебе найдем, замуж пойдешь?

— Отчего ж не пойти, — отвечала Людмила, с силой вытирая глаза.

И через неделю этот, как представлялось Людмиле, ничего не значащий разговор, получил свое продолжение. Жена директора разворачи-

вала перед изумленной Людмилой брачные объявления в различных газетах, расспрашивала о том, каким должен быть жених, требовала фотографий в выигрышном ракурсе. Позже давала Людмиле читать письма от мужчин — много писем! Людмила смотрела, изумляясь, этот спектакль, где главная роль выпала ей.

В конце концов жена директора махнула рукой на бездействующую Людмилу и все сделала сама. Через два месяца от начала «маневров» она со смешком сказала:

— Ну, на свидание я за тебя не пойду, — и положила на стол фотографию.

Мужчина как мужчина, — не красавец, но вполне приятный. Карие глаза смотрели строго и немного устало.

— Тоже намыкался, бедный, — предположила Людмила.

Прочитав в письме имя — Амирам — спросила:

— Нерусский, что ли?

Ответить Ольга не могла, и Людмила тут же спохватилась:

— Хотя какая разница...

На первом свидании Амирам Людмиле не понравился: суховат, мрачен, молчалив. Правда, очень опрятен и в одежде, и в еде, что Людмиле, в общем-то, вполне импонировало. Она смеялась его редким шуткам и вообще всячески показывала расположение и симпатию, помня наставления своей «свахи» — жены директора.

— Даже если не понравится, дай жениху шанс на второе свидание, — говорила та, — пойми, что ему тоже непривычна и неловка эта ситуация.

Второе свидание закончилось у Амирама в квартире, поразившей Людмилу высокими потолками, просторной кухней, чистотой.

Утром она позвала Амирама завтракать:

— Мир, иди кушать!

На столе были овсяная каша, блинчики с медом, бутерброды с колбасой и сыром. Амирам поначалу застыл, не притрагиваясь к еде, как будто сказать что-то хотел, но никак не решался.

Людмила гладила Амираму рубашку, почти не глядя на утюг (конечно, он все сам отлично делает, но и ей не трудно). И Амирам, не сводя глаз с этого самого утюга, сглотнув, пробормотал:

— Людмила, выходи за меня...

И добавил не к месту:

— Хотя на маму ты совсем не похожа.

Стали жить вместе. Суховат, мрачен и молчалив — как был, так и остался, ни второе свидание, ни даже жизнь под одной крышей его не изменили. Иногда на Людмилином смех отзывался слабой улыбкой, но чаще молча смотрел на нее карими, почти черными глазами — и не

поймешь, что на уме. А иногда вдруг застывал и глядел на нее неотрывно, как будто и нет его здесь, в поднебесье где-то витает.

И не рассказывал ничего. Людмила-то — душа нараспашку — всю свою жизнь выложила ему на ладошку. И про детство в деревне, и про мужа непутевого, себя сгубившего, и про «ЗИЛ», и про то, как после перестройки, когда завод на глазах сыпаться стал, работу никак не могла найти и впроголодь жила. Да, так многие тогда жили — чего интересного?

Все, да не все рассказала Людмила. О главном умолчала. О сыне. То ли обида сказывалась, что решил он по-своему, ее не спросившись, то ли решила для себя, что сыночек — отрезанный ломоть — возможно, больше и не появится. Наездишься разве из Находки?

Так или иначе, но молчала Людмила про сына, как будто и не существовало его вовсе. В квартиру свою редко, но навевывалась, пыль вытирала, за свет платила. Про квартиру Мир знал — ключи на гвоздике в передней висели, не прятала. Адресом не интересовался, а Людмиле это было и на руку.

Как поженились, с работы она ушла. Амирам сказал, мол, хватит моей зарплаты нам с лихвой. Людмила как будто дверь в прошлую жизнь закрыла плотно-плотно. Там, за дверью, все и осталось: и квартира, и работа, и сын. Писем он не писал (ящик почтовый Людмила проверяла), по телефону не звонил. Амирамка ей трубку купил сразу, как вместе жить стали — дорогую, «Эриксон» называется. Да трубка Людмиле без надобности: сын не звонит, хотя она номер сразу ему отправила, Мир тоже не позвонил ни разу. А ему зачем звонить? Он без Людмилы только на работу ходил, а с работы возвращался всегда без задержки — можно часы по нему сверять. Муж — на порог, а у Людмилы — все горячее. Пока он руки моет, как раз на тарелку положить.

А ошибок он не прощал. Людмила однажды вилку на стол не положила. Главное, и хлеб на маленькой тарелочке, и соус в соуснике, и соль-перец — все есть, и «жаркое по-милански» на подогретой тарелке. И нож, как полагается, с правой стороны посверкивал, а вилку выпустила из виду. Рассказывала Амирану что-то смешное. Он, ничего не сказав, поднялся, к шкафику подошел, да и взял вилку-то. А почему-то холодком махнуло, как от елки, когда ее под Новый год с мороза в дом внесешь. Обдаст прохладой самую толику, а потом нагреется ель и хвоей заблагоухает. Так и Амирам. Уж так напрягся, что вилки на месте нет, а взял ее — и успокоился, как будто последний кусочек пазла на место положил. Что-то, наверное, с вилкой этой связано, поняла Людмила, и больше такого не допускала.

А тут — вот уж, поистине, как снег на голову, — сын объявился. И не просто позвонил, а приехал без предупреждения. И как теперь Амирану про сына сказать?

На второй день, едва дождалась, когда за мужем дверь закроется, полетела к сыночку. А как же? Ломоть отрезанный, а болит. Погостить приехал или навсегда? Ох, не нравилось Людмиле, что один пожаловал.

Приехала. Дверь, конечно, своим ключом открыла — неужто в звонок звонить к себе-то домой?

Матушка родная, что делается! Бутылки валяются, лужа какая-то на паркете высохла — подошвы прилипают, на газете, на полированный журнальный столик положенной, скелеты рыбные воняют, и уж мухи над ними. Когда поспел-то? Сам спит на диване одетый, глянула — и зашло сердце: вылитый отец его! Опухший, желтый. Батюшки-светы, только не это! Она-то думала — Виктор, пусть и обидел ее, но все-таки жизнь устроил: и женился, и ребеночка завел. И что же, что в Находке остался? И там люди живут, главное, чтоб ему было хорошо. Теперь, когда в ее жизни все так ладно и неожиданно устроилось, Людмила и думать забыла, как заходила над сыновним письмом. Растворившись полностью в Амираме, считала, что невозвращение сына — аванс, залог счастья в новой жизни. Так самая больная болячка на здоровом организме отмирает, в конце концов, и на ее месте нарастает ранимая и непрочная новая кожа, все более уплотняясь.

«Может, только с возвращения с друзьями набрался?» — утешала себя Людмила, складывая в кулек все: и что не писал, и что один приехал, и что, зная о ее приезде, не встал и не прибрался. Понимала, что не случайно все это. Вот чем она заплатит за свой счастливый брак: несчастьем с сыном.

Амирам дома любил сидеть: чай пить, разговаривать, книжки читать, но Людмила к путешествиям его пристрастила, до коих сама была охоча, сначала в теории — по большой карте ползала, пальцем по дорогам и тропинкам водила, а как машину купили — то и к реальным. Выбрала турбазу на Чебоксарском водохранилище в поселке со смешным названием Хыркасы. Амирам подготовился: купил ружье для подводной охоты, две удочки, крючки, блесны. Поехали.

Путешествие началось сразу за порогом дома. Шестьсот пятьдесят километров, десять часов за рулем, но Амираму не страшно, он к однообразному труду привычный. После перестройки их КИППиА самостоятельно работать начал, и Амирам там — не последний человек. Поначалу вообще на нем все держалось, потом расширяться начали, молодежи набрали. И приборы в институте по-прежнему чинили, и компьютеры стали собирать, это много денег приносило.

Людмила прихватила в дорогу большой термос с чаем для Амирама, маленький с кофе — для себя, бутерброды в фольге.

— Горячее — в обед, — сказал Амирам.

Людмила не возражала. Выехали рано, и не зря: дорога пустынна, в оврагах плавает туман, солнце вспыхивает в росистой траве тут и там. Людмила болтала без умолку, смеялась. Амирам, давно привыкший к ее шумливости и шуткам, улыбался, хотя привычно недоумевал: как его угораздило на такой хохотушке жениться? Совсем не похожа на маму!

В Нижнем сделали большую остановку. Город не осматривали, решили на обратном пути непременно походить-побродить по улицам, посидеть на набережной, пожалуй, даже покататься на катере. Пообедали на краю города в небольшом кафе у дороги. Амирам заказал им борщ, котлеты с картошкой и компот. Очень аппетитно выглядели пирожки с капустой. Амирам купил и их. Вкусные, конечно, но Людмилины лучше.

Дальше поехали медленнее. Становилось жарко, вялая послеобеденная сытость перешла в сонливость, и здесь очень пригодился Людмилин чай из термоса. Амирам даже отхлебнул кофе для бодрости, в очередной раз удивившись: как Людмила пьет эту горькую гадость?

Чем ближе к месту, тем более созвучными ему становились названия: Рыкакасы, Калайкасы, Шобашкасы... Людмила смеялась, а Амирам удовлетворенно отмечал путь на карте: ехали правильно.

Разместившись в номере и вкусно поужинав в столовой, завалились спать после дороги. Все им нравилось: и номер хорош, несмотря на то, что с двумя маленькими кроватями вместо одной большой. Людмила не согласилась спать в одиночестве и прижала Амирама к стене на узенькой кровати своим мягким теплым телом, легла головой на его руку. Амирам, поворчав для порядка, накрыл ее другой рукою.

Чуть свет Амирам пошел на разведку. Погода испортилась, над водохранилищем носились тучи. Отдыхающие еще не высыпали на берег, лишь местные рыбаки раскладывали свежий улов на продажу. С высокого берега открывался величественный вид: Волга, разлегшаяся, как море, не видать берегов. Черная вода, тяжелые волны, километрах в десяти угадывается другой берег.

«Надо туда сплавать, — подумал Амирам, — Людмиле понравится. Завтра. Сегодня больно волны высоки».

Но когда Людмилу останавливали волны и прочие опасности? Загадали так: если лодочник лодку выдаст — поплывут, нет — значит, в другой раз.

Лодочник подивился:

— На тот берег?

Но лодку выдал.

Амирам самолично надел на Людмилу спас-жилет, затянул-застегнул все ремешки. Та, по обыкновению, хохотала:

— Мир, ты же меня вытащишь, если что? Я плавать не умею!

«Мир» — так она его называла. Амираму это очень нравилось, как и «Амка» — так когда-то окликала его мама.

Лодку Амирам тоже выбрал сам. Абсолютно сухая внутри — значит, не подтекает, без ржавчины — новая. Хороший цвет — темно-зеленый, хотя цвет — дело десятое. Людмила настаивала на оранжевом. Амирам почти согласился, но Людмила быстро уступила:

— Зеленый — тоже хорошо. Не хватало еще по пустякам спорить.

Лодочник оттолкнул лодку, прокричал что-то вдогонку, типа «осторожней», и они поплыли. Людмила попросилась на весла. Амирам сидел на носу, спиной по движению лодки. Из-за низких туч выглянуло солнце, зажегшись нимбом в волосах Людмилы, кудрявившихся на висках.

«Святая, как есть — святая!» — в который раз уверился Амирам, но вслух сказал другое:

— Ты как будто в скафандре, Людмила!

Меж тем солнце вновь скрылось за тучу, закрапал дождик. И чем дальше они удалялись от берега, тем темнее становилась вода, совсем не такая, как в городской квартире. Прозрачная вода, льющаяся из крана, кажется, не имеет никакой плотности, а эта толща — иначе не скажешь — не просто плотная, а упругая и округлая, как будто и не вода вовсе, а гибкая резина. Молчали. Амирам видел, что Людмила побаивается, да и сам не чувствовал себя уверенно на этой небольшой в огромном просторе лодочке. Перейти на весла вместо Людмилы он не решался: нужно встать, рискуя опрокинуть лодку. Единственное, что Амирам позволил себе — чуть развернуться, чтобы видеть, не сносит ли их в сторону. Течение очень даже ощущалось, и волны становились все выше и выше.

Вдруг Амирам увидел нечто, что заставило бы его вскочить на ноги, не будь это так опасно. Наперерез им по руслу Волги шла баржа! Скромная баржа-трудяга, толкаемая буксиром, стрекота которого не было слышно в плеске и шелесте волн. «Видят ли нас с буксира? Что для них наша маленькая лодчонка? Эх, почему оранжевую не взяли!» — вихрем неслись мысли в голове Амирама.

По крайней мере, спасательные жилеты на них — ярко-желтые, должны заметить! Но нет — не видят! Кричи-не кричи — не услышат. Что делать? А волны, как в океане, и кажется Амираму — все одно: перевернутся они сейчас. Сможет ли он доплыть до берега, вытащит ли Людмилу?

— Людмила, давай назад! Гребь назад! — закричал Амирам.

Нет, Людмила не справится! И Амирам, уже не заботясь о том, что перевернется лодка (так и так перевернется!), шагнул на банку с веслами.

Людмила (молодец, девочка!) быстро-быстро переползла на его место. Амирам греб изо всех сил, Людмила — посеревшая, развернувшись вполоборота к барже, кричала что-то однообразное, как мог судить Амирам по раскрытому рту, потому что голоса он не разбирал.

Еще минуту Амирам бешено отгребал назад. И вот близко-близко и страшно медленно проплыл грязно-голубой бок сухогруза. Мимо! Мимо! Пахнуло мазутом и гречневой кашей, проползла безлюдная палуба, лишь тельняшки, развешанные на веревке, размахивали рукавами. Мимо! Исполинские волны захлестывали воду в их маленькую лодку.

— Держись, Людмила, — зачем-то прокричал Амирам, бросив весла и вцепившись в борта лодки.

«Тыр-тыр-тыр», — как трактор тарыхтел удаляющийся с баржей буксир. Амирам опять взялся за весла. Людмила, вытащив из кармана плотную панаму, стоя на коленях, черпала воду.

— Оставь, Людмила! Теперь не потонем, выплывем! — прокричал Амирам, но Людмила его не слышала.

Постепенно стихал шум, истончалась тело воды. Вот уже видны песок на дне и стаи рыбок на мелководье. Лодка царапнула днищем. Амирам опустил руки, а Людмила все черпала и черпала воду.

— Людмила, все-все. Приехали. Все хорошо, — говорил Амирам, обнимая жену, силком вытаскивая ее на берег, — все хорошо, мы живы, мы доплыли.

И тут Людмила заплакала в голос, повторяя одно и то же слово: «Прости».

За что простить-то? Амирам сам виноват, зачем согласился плыть в бурю.

Когда возвращались обратно, река успокоилась, морщилась мелкой зыбью. Амирам и Людмила словно поменялись характерами на время: Амирам, по обычаю жены, много говорил и смеялся, а Людмила находилась на корме, зажав ладони между колен, и все попытки разговаривать ее оказались тщетны.

Из аэропорта Витька первым делом позвонил домой, послушал длинные гудки. Набрал мобильный номер матери с тем же эффектом и, отстояв очередь на экспресс, поехал в Москву. Найдется. Однако напрягся: чтобы мать пропустила его звонок — такого никогда еще не случилось.

Мать перезвонила сама, когда Виктор входил в метро.

— А у тебя не ночь разве? — спросила.

— Я в Москве, мам. Через час-полтора дома буду.

— Дома? — мать помедлила. — К Клаве соседке зайди, ключ у нее возьми. Я завтра часов в двенадцать приеду.

Вот так явишься домой! А рыдала всего каких-то четыре года назад: «Сыночек, как же я теперь без тебя!»!

Мать тут же перезвонила:

— Ты один?

— Один.

— Надолго?

— Мам, поговорим. Навсегда, наверное.

— Еды купи, дома пусто. Деньги есть у тебя?

Витька вошел в квартиру. Он не появлялся дома шесть лет, с тех пор, как ушел в армию. В квартире ничего не изменилось, насколько он помнил, но ощущалась какая-то заброшенность, как будто и мать не жила здесь тоже: окна наглухо закрыты, перекрыты газ и вода. Холодильник почти пуст, лишь в морозилке болтается курица в пакете.

Виктор бросил рюкзак, открыл балконную дверь, пошарил по карманам и спустился вниз, в магазин во дворе.

Поднимаясь по лестнице обратно и позвякивая бутылками, встретил закадычного друга и одноклассника, тоже Витьку, из соседней квартиры. Обнялись, похлопывая друг друга по спине и плечам, вошли в квартиру вместе.

Через полчаса, когда охладилось пиво, засунутое в морозилку, а друг притащил жареной картошки прямо в сковородке, они накрыли какой-никакой стол, и друг Витька провозгласил: «Ну, вздрогнули! За встречу!»

Виктор сделал, наконец, первый глоток за сегодняшний длинный день.

Заломило зубы, горечью омыло небо, холодный шар прокатился по горлу и раскрылся, как мяч-трансформер, впиваясь ставшими вмиг горячими зубцами в стенки желудка и одновременно в ткань печени, в округлость почек. Виктор содрогнулся и отпил залпом две трети из высокого стакана.

— Эк тебя скрутило! Как будто спирту дернул, — засмеялся друг Виктор. Он пил пиво, как воду.

Витьке после первой порции стало хорошо и тепло. Закурили.

— Мать-то где твоя? — спросил друг Виктор. — Не вижу ее что-то.

— Да я не понял. Говорит, завтра приедет.

— А сам как? Теть Люда говорила, женился?

— Разбежались уже, — буркнул Витька, — я насовсем вернулся.

Пиво разливалось по телу теплыми волнами, и уже плавало и размывалось в дыму и хмелю лицо друга, а дальше, как обычно, помнилось плохо. Вроде они снова ходили в магазин, и вроде телепалась с ними какая-то девчонка, и друга Витьки мать, соседка Клава, кричала и ругалась на них, волоком утаскивая сына.

Виктор проснулся утром, когда мало-мальски рассвело. Долго не мог понять, где он, почему так светло за окном, вроде еще ночь. Сообразил с трудом, что он — дома в Москве, а не в Находке. В Находке у него больше дома нет.

Поплелся на кухню. Пива не осталось. Взглянул на часы, но ничего не понял и, не вспомнив, перевел ли он часы на московское время, отрубился.

Дождь обрушился сразу. Минуту назад светило солнце, и вдруг как занавес упал, накрыл остановку со всех сторон серым гулким полотном.

И одинока Людмила, словно невесть откуда взявшийся в луже обрывок бумаги.

«Нет-нет, — одернула себя Людмила, — отчего ж одинока? У тебя Амирам есть и Витька».

Только Амирам ничего не знает, а Витьку отдала в незнакомые руки.

Врать Амираму становилось все труднее. Пока навещала Виктора дома, мужу даже ничего не говорила: он — на работу, она — к сыну. Уберется, холодильник заполнит, и назад. Все поспевала — и там сготовить, и там. Да и не ежедневно ездила, конечно. А сын-то иногда и не видел ее. Ну, а если, паче чаяния, не спал — нетерпеливо морщился:

— Мам, не езд, все хорошо у меня. На работу устраюсь, дай срок. Да не пью я, мам, с чего ты взяла? Пиво же!

Примерно через два года Людмила уговорила сына поехать трудником в Высоцкий монастырь в Серпухове. Говорили, что у иконы «Неупиваемая чаша» самые замшелые алкоголики исцеляются, даже если не верят. А уж коли в монастыре пожить и всякий раз к иконе прикладываться, больше к пьянству возврата никогда не будет.

Людмила сделала все честь по чести: позвонила в монастырь, попросила благословления у самого главного священника. Сам он, разумеется, не ответил, но пришла эсэмэска: можно привозить, желательно трезвого, три дня оплатить за гостиницу, как паломнику, а дальше — жить и питаться бесплатно, но все послушания исполнять и трудиться во славу Божию.

Ехать уговорились во вторник. Конечно, Людмила просила и умоляла сына не пить хотя бы с утра назначенного дня. Приехав на вокзал к условленному времени, не дождавшись сына ни через час, ни через полтора, полетела домой.

Витька бодрствовал, но принял, похоже, уже изрядно.

— Давай, мам, завтра поедем, — произнес он весело, косясь на стол, на котором стояла бутылка пива, совсем-совсем недавно открытая: еще бежали к горлышку мелкие пузырьки, еще стекали капли по запотевшему боку.

Людмила к такому была готова: «Алкозельцер», бутерброды, минералка. Размешивала, заставляла пить, пихала голову сына под кран. Хорошо, что уважение к матери последнее не потерял, почти не сопротивлялся. Поехали. В электричке до Серпухова спал, в автобусе по городу зло хмурился, значит, трезвел.

Охранник на входе запер в сейф паспорт, телефон и деньги на обратную дорогу («Вдруг выгонят — никого ждать не будут, сам домой поедет», — объяснил он) и отвел Виктора в небольшой домик у входа — гостиницу для паломников.

Зашлось у Людмилы сердце, пока сын уходил, не оглядываясь. Как в тюрьму.

Убеждала себя: для его же блага! Но ныла душа: «Не слишком ли я с ним круто?»

И вот теперь стояла Людмила под крышей грохочущей от дождя остановки, не чувствуя ни малейшего облегчения. И сына не спасла, и перед Амирамом стыдно. А уж теперь-то как признаться? Вагон времени прошел — и нате вам: сын у меня, Мир, да еще и пьющий. И деньги ему таскаю, и из милиции его вызволяю, и теперь в монастырь отвезла, с последней надеждой.

И решила Людмила: если сын за ум возьмется (ой, как хотелось в это верить!), признается Амираму во всем. Упадет в ноги и не встанет, пока не простит за вранье и лукавство. А ежели не простит (Людмила такое вполне допускала: при его щепетильности и педантичности в мелочах — извинит ли такое безобразие в отношениях?), уйдет Людмила. Вернется в свою квартиру, будет с сыном жить. Значит, судьба такая.

И не заметила Людмила, как то, что раньше за радость принимала — с сыном жить — теперь ей наказанием обернулось.

Еще сегодня утром, выползая из-под руки мужа, любуясь им и жалея (а Людмила жалела его, понимая, что эти несусветная тщательность и сдержанность во всем не дались ему просто так от природы, а возникли и окрепли от одиночества и бесприютности), невозможным счастьем согревалась. Она звала его «Мир» — случайно ли? Весь мир замкнулся на нем. И каждый день, как гладкая бусина в длинном-длинном янтарном ожерелье, наполнялся солнцем и блаженством.

Но по мере того, как уезжала Людмила от дома и проникали в нее заботы и тревоги сегодняшнего дня, все больше отдалялось, покидало ее это счастье. Кто она теперь? Мать, потерявшая живого сына, стоит на пустой остановке. Барабанит по железу дождь, и кажется, что солнце никогда не выглянет.

Амирам часто задумывался: как его угораздило жениться на Людмиле? Пишная, розовощекая, с неуправляемым буйством светлых вью-

щихся волос — ничем, ничем абсолютно она не напоминала маму. Да, чистюля, еще какая; но ее смех, ее почти неумолчное щебетание так не вязались с молчаливостью мамы и самого Амирама, что должны были непременно раздражать, но — нет, не раздражали! Не сказать, что ему очень нравилось, но Амирам так быстро привык к способности Людмилы все делать вслух, что, если она замолкала, беспокоился: здорова ли, все ли в порядке?

И вдруг, когда они прожили вместе уже больше трех лет, Амирам понял, в чем главная притягательность Людмилы, схожесть с его матерью.

Поздним зимним вечером, когда Амирам лежал в кровати, а Людмила досматривала сериал на маленьком телевизоре на кухне, он, закрыв глаза, развлекал себя бесконечной игрой «в слепого»: пытался понять по почти неслышным звукам, что делает Людмила. Вот тихонько звякнула чашка, и с мягким шипением полилась в нее минералка. Вот резко всхлипнул кухонный диванчик — Людмила присела на него, оторопев от поворота сериального сюжета. Но вот телевизор выключен, погашен на кухне свет, и Людмила идет к нему по темному коридору. И в тот самый миг, не открывая глаз, Амирам увидел ее сквозь сомкнутые веки, сквозь смеженные ресницы! Жена светилась в темноте белесым светом ясно и выпукло. Он видел ее! Вспомнилось не к месту: «Луч света в темном царстве», — и все стало на свои места: чистая, ясная, светлая... Он сказал бы: «Святая», — но испугался такой смелой мысли и отогнал ее прочь. Об этом же говорил когда-то ему отец, видя свет, исходящий от мамы, и это свечение делало похожими таких разных, таких любимых Амирамом женщин.

Теперь, когда Людмилы не стало, когда стихли все звуки в квартире, вопреки несмолкаемому шуму улицы, соседских скандалов, утреннего чайника, Амирама вновь укрыла черная-черная бархатная темнота, наперекор дневному свету или включенной к ночи люстре. До тех пор, пока он не увидел сон.

До встречи с Людмилой Амирам снов не видел. Но Людмила так подробно и увлекательно рассказывала свои сны, что Амирам, как будто ими, снами этими, от нее заразился, и нет-нет, видел какие-то неясные пятна и смутные тени.

А сегодня вдруг сон увидел, да такой отчетливый, что в первую минуту, проснувшись, не мог прийти в себя, озираясь и не понимая даже, где он находится.

Работу Виктору дали несложную. Утром, в пять часов, он должен перенести небольшой мешок с мукой для просвирок из кладовки на кухню. Загвоздка состояла лишь в том, что перед каждой из дверей нужно

остановиться и прочесть молитву. И в молитве-то всего десять слов (Господи Иисусе Христе сыне Божий, спаси и помилуй мя, грешного!), но запомнить ее никак не удавалось, и приходилось, придерживая мешок, тащить из кармана бумажку и читать по ней.

Скудная и редкая трапеза и неудобная кровать не доставляли ему ни облегчения, ни особых страданий. Стоя на утренней службе, он постоянно отвлекался, уносясь мыслями вон из храма и вообще далеко-далеко отсюда. А ползание после литургии по прохладному кафельному полу храма среди таких же трудников, как и он, с небольшим скребком и влажной тряпкой (соскабливать воск, накапавший со свечей), приносило даже некоторое удовольствие. В течение дня набегало много разнообразных занятий: убирать с гряд морковь и свеклу, собирать опавшие яблоки, подметать дорожки. День поэтому представлялся бесконечно длинным, и через три дня казалось, что живет он здесь, по меньшей мере, месяц. Странно, что работу никто не проверял, но все делали, никто не увиливал. Верно, от того, что заняться все равно нечем, — так, по крайней мере, за работой можно время убить.

После службы Витька подходил к иконе «Неупиваемая чаша», долго и пристально смотрел в глаза Божьей Матери. Невзирая на толпу подле иконы, ему мерещилось, что глаза ее смотрят на него одного. Но он не чувствовал ничего, он не верил. Многочисленные колечки, крестики, цепочки, оставленные перед иконой в благодарность за исцеление, вызывали сомнение, не в своей подлинности, конечно, а том, как они попали сюда.

«Неужели кому-то помогает? — прикидывал он. — Наверно, специально здесь развешивают, типа для рекламы».

Но к причастию готовился: что ж, раз согласился здесь остаться, пусть и без охоты, надо играть в их игры. Пива, правда, очень хотелось. Постоянно пустой желудок просил пива и мяса. Есть хотелось всегда, и горстка гречневой каши, как он называл ее «по-монастырски», где вместо тушенки изредка попадались лук и морковь, этого голода ничуть не утоляла. Никаких перекусов и чаепитий не было, а те деньги, что сунула перед отъездом мать, охранник запер в сейф вместе с паспортом и телефоном. За территорией (Витька видел во вторник, когда они шли сюда с матерью) обреталась небольшая лавчонка с булками и кофе, но выходить за территорию строго-настрога запрещалось. А еще хотелось спать. Даже не спать, а валяться в сладостном безделье, потягиваясь и жмурясь котом на солнышке.

Хорошо, что мать привела его в чувство перед тем, как сюда сдать. Поговаривали, что приехавших пьяными или под дозой запирают в подвал, где те просиживают безвылазно от одной ночи до трех суток. Подвала Виктор боялся.

Так прошла неделя. В воскресенье исповедовался и причастился, вечером того же дня отстоял Акафист перед «Неупиваемой чашей». Этот воскресный Акафист отличался от такого же пятничного. Сегодня вокруг священника стояли не только монахи, насельники и трудники монастыря, но и приехавшие сюда специально, по большей части, не по своей воле, а привезенные матерями или женами. «Своих» — тех, кто пил и не верил ни в какое чудесное исцеление, — Виктор узнавал по привычной позе, по упрямому взгляду, по усмешке. Но многие плакали, неумело крестились, и это повергало Витьку в большой шок, чем все тяготы здешнего житья.

Во вторник, отнеся на кухню мешок с мукой, привычно зачитав по бумажке Иисусову молитву, он забрал у охранника свои вещи и сорвался домой.

Мать примчалась на следующий день. Заглядывала в глаза, как и раньше, когда еще не вышла замуж, кормила пирогами с капустой и холодцом, который, фактически, растекся в бульон, пока она его довезла. Но откуда везла, где живет теперь — молчала.

— Витюшка, давай я тебя грузчиком на склад устрою? — заискивающе произносила она, исподтишка оглядывая кухню на наличие пустых бутылок и приметы, указывающие на вчерашний «банкет» по случаю возвращения.

— Подожди, мам, отдохну чуток, я ж в монастыре не отдыхал — работал. Да не пью, я не пью, пива бутылочку взял. Что, нельзя?

Людмила и Амирам приехали в Тулу. Почему именно в Тулу, знал Амирам, теперь он, а не Людмила, составлял всевозможные маршруты, пытался объяснить Людмиле, что необходимо посмотреть в том или ином месте. Она отмахивалась со смешком: ей все равно — куда, лишь бы с Амирамом.

Город им сначала не понравился. На тротуарах центральных улиц меняли асфальт, стояли чад и пыль, воздух дрожал обморочной зыбью. Но постепенно город разворачивал свитки улиц, растекался площадями и, наконец, раскинулся великолепным старым парком. Парку Амирам и Людмила безоговорочно поставили твердую пятерку. Деревья еще зеленели по-летнему, лишь в одном месте пятно желтизны легло на зеленое полотно. Воздух, сухой и прозрачный, как это бывает лишь осенью, стоял недвижим. Скакали белки, пугая голубей, и сами пугаясь хлопанья крыльев взлетающих птиц.

Амирам и Людмила медленно брели по асфальтовой дорожке. Жена, как всегда, что-то рассказывала. Амирам слушал вполуха, упиваясь неспешной прогулкой, ласковым теплом осеннего денька. Людмила ла-

донь, зажатая у него под мышкой, вдруг напряглась и затвердела. Амирам огляделся. Что могло ее напугать? В этой части парка почти никто не гулял, кроме них. Дети с самокатами и мамы с колясками остались на центральной площадке, немногочисленные туристы фотографировались с шахматными фигурами в человеческий рост и самоварами. Впереди на лавочке сидел парень бомжеватого вида: слишком загорелый, в резиновых шлепанцах на грязных ногах, с выцветшими космами сивых волос. Вальяжно развалившись, безразлично посматривал вокруг соловыми глазами. Людмила, вмиг осунувшаяся и побледневшая до синевы, смотрела прямо на него, не отрываясь, часто сглатывая пересохшим горлом.

— Мамаш, прояви сочувствие, помоги на опохмел, — развязно произнес парень.

Амирам хотел вмешаться, но Людмила, выдохнув со всхлипом, бросилась бежать из парка, да так, что Амирам едва за нею поспевал.

— Людмила! Остановись! Людмила! Да что с тобой?!

Поймал у самого выхода, обнял, прижал.

Людмилу трясло, она повторяла лишь:

— Не он, не он!!!

— Да кто, Людмила? Знакомый?

— Прости, Мирочка, прости. Я расскажу, чуть позже расскажу, прости!

Грибов в этом сезоне полно! Клава и жарила их, и солила, и сушила. А еще новая мода появилась — сварить, а потом заморозить. Каждому грибу — свое: опята — солеными хороши, упругие, хрустящие; белые — те сушить, зимой суп варишь — дух стоит по всему подъезду. Уж на что Людка-соседка в поварском искусстве привереда, а всегда хвалила, говорила:

— Клавусь, даже если когда разругаемся с тобой, грибной суп у тебя есть буду.

Да с чего бы им ругаться? Людка — баба хорошая, жаль, не везет ей. То муж умер от пьянства, то сыночек ее, Витька, тоже баловаться начал. Таскает его Людмила по бабкам-знахаркам и врачам — кодирует, да толку-то! Как пил, так и пьет. Еще и оправдывается: я ж, мам, ей говорит, пиво пью, не водку. Я — не алкоголик.

Сама-то Людка, пока парень ее в армии служил, замуж вышла, да тоже, видать, не очень удачно: ни разу мужа не привезла, ни с кем не познакомилась. Ей, Клаве, говорила, что, наоборот, больно хорошо живут, мужик попался работающий и непьющий. Мол, боится Людмила, что сглазят. А и то верно — по-всякому бывает.

Может, и Витьку сглазил кто? Теперь вот что Людка-то удумала: в монастырь сына возит — и раз, и другой. Он там, говорит, работает, молится, вдруг завяжет? Клава знает, когда такое горе с сыночком, сама в монастырь уйдешь или еще куда — лишь бы у него все хорошо. Но по правде (Людмиле-то Клава такого отродясь не скажет), поменьше нужно баловать сына-то. Пока рос — ни по дому ничего, да и учился кое-как. Клава знает, они с ее сыном, тоже Виктором, в один класс ходили. Виктор рассказывал, что Витька даже над учительницей насмешничать себе позволял. А Людмила — сколько раз ей Клава говорила, что пороть надо Витьку — губы в нитку стянет и промолчит. А уж как взрослым стал — все ему можно, возомнил.

Клава с дачи утренней электричкой вернулась, почти месяц там провела. Раньше все с Людкой ездили, та грибы что собирать, что солить — большая мастерица! Но теперь Людка с мужем ездит. Рассказывала — по городам всяким, на машине. А для Клавы ничего нет лучше, чем на даче! Правда, и дел в сентябре много: картошку выкопать, морковку, свеклу. Грибы опять же — самая для опят пора. Телефон на столе валяется, зарядить бы надо, хотя кому нужно, те и на городской позвонят. На трубку редко кто — если что случится, пока она на даче. А в этот раз случайно дома трубку-то и оставила. Виктору один раз с почты позвонила, так, на всякий случай. Раньше как-то обходились без мобильных этих. Городской, он и дешевле, и привычней, Клава все номера товарок своих наизусть помнила, и Людкин тоже. Да вот новый городской Людмила не дала, говорит — нету, а скорее всего, не хочет, чтобы Клава на него звонила. Что ж, ее понять можно: новый муж, новые правила, не до подружек. Но вот сейчас Клава с грибами разделается, те, которые до электрички набрала и свежими в Москву привезла, переберет, сварит, да Людмиле на трубку и позвонит. Узнает, когда та домой к себе собирается, встретятся, поговорят про сыновей, про мужей... да мало ли разговоров накопилось за месяц.

Никогда Амирам не позволил бы себе копаться в телефоне Людмилы, но только не сейчас. Он не знал телефонов ее подруг, вообще кого-либо, и надеялся найти их в телефонной книге. В списке контактов нашлось всего три номера: самого Амирама, соседки Клавы (так записано — Клава-соседка) и некоего Вити, с которым Людмила общалась довольно часто. Но и тот, и другой номера недоступны. Оставаться в душераздирающей тишине квартиры без Людмилиного хохотка, без ее смешливого безостановочного говора мнилось нестерпимым. Никакого мало-мальского дела не придумывалось, все хлопоты по похоронам, включая поминки в небольшом кафе прямо возле Хованского кладби-

ща, Амирам оплатил специальной службе, ему ни с чем управляться не надо, но и сидеть в пустой квартире — невыносимо.

Амирам заглянул в паспорт Людмилы, посмотрел адрес регистрации, снял с гвоздика ключи и поехал в Бирюлево, непонятно на что надеясь.

Панельную девятиэтажку и квартиру Людмилы на шестом этаже Амирам нашел достаточно быстро. Пока шел с автобусной остановки, смотрел по сторонам, представлял, как Людмила ходила этой улицей, так же, как и он теперь, смотрела на пыльные липы, на церковь без купола, прячущуюся за деревьями прямо во дворе дома. Вот прыснула через дорогу рыжая полосатая кошка, и Амирам, чуть притормозив, вздрогнул: вдруг и Людмиле встречалась когда-нибудь именно эта кошка.

Под дверью квартиры постоял, умирняя бухающее сердце и проталкивая ком в горле. Потянулся к пуговке звонка, но застопорился и позвонил в звонок у соседней квартиры. Дверь тотчас распахнулась. Женщина в фартуке и низко повязанном платке молча смотрела на Амирама.

— Клава? — спросил он наобум.

— Клава. А вы кто?

И, застыв на секунду с прижатым ко рту кулаком, запричитала, заохала, закричала, когда Амирам сказал, кто он, и почему приехал.

— А Витька знает? — спросила она, утирая слезы фартуком, и тут же без перехода засуетилась, — проходите к нам, я с грибами разбираюсь, вот только с дачи вернулась. Хорошо, вы меня застали, чуть бы раньше... А-а-а, Людка-Людка, как же та-а-а-а!

Амирам, держась изо всех сил, чтобы не заголосить вместе с Клавой, спросил осторожно:

— А Витька — это кто?

— Как, вы не знаете разве? — Клава вытаращила и без того круглые выпуклые глаза. — Сын Людкин непутевый, моему Виктору дружок. В школе вместе учились. После армии женился где-то на Севере, а потом приехал, и не просыхал с той поры, как папаша его покойный, лет шесть тому. Уж Людка куда его не таскала: и на гипноз, и к бабке-знахарке, и в монастырь сдавала. Он там поживет неделю, когда больше, приедет — не пьет. А потом — опять. И опять Людка его везет.

Разобраться и понять Амирану никак не удавалось. Хотелось «разложить по полочкам» все сказанное Клавдией, а пока возникло необъяснимое и тягучее, как деготь, чувство, что его обманули. Зачем? И кто! Людмила!

Клава затараторила споро:

— Стыдно, наверное, Людке-то перед вами было. Вы — мужчина порядочный, а тут — сын-алкоголик. Вы на нее не обижайтесь. Не хотела она вас в это макать. А я-то, я-то, болтушка, чужую тайну выдала!

— Могу я попросить вас Виктора найти до похорон? — спросил Амирам, едва совладав со своим голосом.

— Как же, как же! Сейчас Виктор придет с работы (мой Виктор, сын), и разыщем. Да нет, позвоню, чего ждать! Если нужно — съездим, привезем. Как же допустить, что сын мать не похоронит. О-о-ох, — запрочитала она еще пуще, — горе-то какое-е-е!!! Людка-а!

И тем же вечером Клава доложила Амирану по телефону, что Витька в Серпухове, в монастыре. Завтра Виктор («сынок мой» — неизменно добавила Клава) за ним съездит.

Народу в морге больницы набралось неожиданно много. Клава обзвонила, обошла, разыскала бирюлевских соседей и подруг Людмилы с оставленной работы. Приехали даже жена директора (так с придыханием шепнула ему на ухо Клава), которая смотрела на Амирама с явным и неуместным интересом, и соседи из дома на Авиамоторной. Амирам, проживший там гораздо дольше Людмилы, не знал и половины собравшихся. Но на поминках в кафе осталось человек десять, не больше.

Трапеза длилась недолго, на взгляд Амирама, но ручаться он не мог. Что-то нарушилось в эти три дня: то казалось, полдня прошло, а на часы глянешь — всего-то час, а то, наоборот, оглянуться не успеешь — уже темно, и надо ложиться в ставшую громадной и неуютной постель.

Витька, похожий на хорька мелкими чертами лица и круглыми насупленными бровями, сидел напротив Амирама. Он мало ел, водку пил неохотно и словно не умеючи: судорога пробегала быстрой и мелкой рябью по его лицу, когда он опрокидывал в себя очередную стопку. Шевелились его губы — молился ли, спорил ли с кем-то? Но запьянел очень быстро, и все глядел исподлобья на Амирама, кривясь и оскаливаясь, тем еще больше напоминая маленького злого хищника.

Подошла Клава, обняла Амирама, прощаясь.

— Витька собирайся, поедем, — прикрикнула, но Амирам сказал:

— Пусть у нас пока поживет.

И поправился:

— У меня.

Витьке постелил на кухне, а сам прилег на край ставшей ненужной большой кровати. Подумал: «Опять переезжать, как тогда, когда не стало мамы и отца?» Послушал себя: нет, менять ничего не хотелось, а хотелось, наоборот, длить порядок, установленный женою, касаться ее вещей, смотреть на лицо ее глазами.

Когда кое-как заснул, а может, и не заснул даже, лишь глаза прикрыл, по давней своей привычке внутрь себя заглядывая, приснилась-при-

виделась ему Людмила. Плыли они на лодке, как тогда, давным-давно. Струилась река прозрачной, нежно-лазоревою водою в ослепительных солнечных бликах, и ничто им не угрожало. Трепетали на ветру светлые волосы Людмилы, вился на шее голубой шелковый платок. А потом очутились они на берегу, на белом-белом песке. И жена говорила, заглядывая ему в глаза:

— Прости меня, Мир! Прости за тайну мою, прости за мой стыд. И не оставь, Мир, моего Витьку. Больше ни о чем тебя не прошу.

И поплыла по небу бело-белым облаком, синеву неба подчеркивая и оттеняя, руки раскинув. А Амирам и Витька идут по берегу под крестом ее рук. Накатывают волны, смывают следы, оставленные ими.

Амирам проснулся. Не успев глаза открыть, все вспомнил: нет Людмилы, лишь спит на кухне ее сын, неуловимо схожий с хорьком, хотя жизнь у него — как у крота: та же тьма.

На кухню Амирам вышел, воды глотнуть — от белого сияющего песка, который во сне сверкал-переливался, пить хотелось нестерпимо, и на зубах похрустывало, как бывает после пляжа. Старался не шуметь, чтоб Витьку не разбудить, — и зря: круглый уличный фонарь освещал пустую раскладушку. Ушел Витька! Куда?

Амирам подошел к окну, в одной руке — стакан, в другой — бутылка минералки. На подоконнике Людмила смеется на портрете, ореол бело-курых волос вокруг головы.

— Хорошо, Людмила, что ты меня обманула, — Амирам промолвил, — если б сразу после знакомства открылась, ничего бы не сложилось у нас: не стал бы я связываться. А позже — рвался бы вместе с тобою, уверенный при этом, что ничегошеньки путного не выйдет. Ну, не верю, не верю я, что алкоголика вылечить можно! Да и не болезнь это. Распушенность душевная, темнота — одно слово, самим человеком выбранная.

Вот уж и вода закончилась в бутылке, и ноги замерзли, босые на кафельном полу — стоял Амирам у окна, на улицу смотрел, а ничего не видел, только трепал ветер ветви тополей, нес, кружил опавшие листья.

— Нет, зря не сказала, Людмила! — пустой стакан на стол поставил, портрет взял, вспомнив неприятного ему человека (ни одной черточки в лице похожей, бывает же так! как будто и не сын вовсе). — По крайней мере, привык бы я к нему. А так... зачем он мне нужен — чужой человек? И что делать? Переждать, пока рассосется?.. Нет, не сумею теперь. Буду искать, найду — а дальше? Что дальше? Таскать, как ты? Нет, Людмила, не поведу его по жизни, как телка на веревке. Пусть сам захочет. Сам. Иначе — все без пользы. Или это одни отговорки, оправдание нежеланию? Темнота, темнота! Где выход?

Смотрел Амирам на серый асфальт сквозь чистые стекла и сам с собою спорил.

— Эх, Амирам, — говорил он, — даже порядок Людмилин не хочешь нарушить, а сына ее на помойку решил выбросить? Как от него отмахнуться? Ладно, допустим, возьмусь. А Виктор? Он — не кукла. Что ему нужно? В чем его свет? В чем его цель? А если его цель тебе не понравится? Или нет ее вовсе? Вряд ли у кого-то есть намерение спиться к сорока годам. Значит, парень просто блуждает в темноте, не зная, где свет искать. И не сможешь. Самая шикарная яркая люстра не заменит солнце.

Но когда проклюнулся робкий пепельный рассвет, и потянулись по тротуару первые прохожие, кутаясь в плащи и куртки под мелким осенним дождичком, определился.

«Поеду. В квартиру съезжу, нет его там — в монастырь», — пообещал то ли себе, то ли фотографии в рамке и, одевшись, нашаривая на вешалке зонт, оглянулся у порога, сизнова спросил:

— Почему ты молчала, Людмила?

И крошечная тьма обступала его, тыкался он, как слепой котенок, и отца вспоминал: «Научи, как в темноте жить? Это ж не вилку отыскать наощупь...»

Но крепчал, расстилался над ним белый дрожащий свет.

Витька ехал в монастырь. Выскочил, не дождавшись рассвета, часа два по Москве плутал, а от Комсомольской — дорога привычная. Два часа на электричке, двадцать минут на автобусе, потом подняться в гору — и на месте. Когда-то давно впервые отвезла туда его мать, и прожил он там всего неделю. Но потом обвыкся, даже понравилось. Стал приезжать сюда сам и оставаться подчас на месяц и больше. Ему нравились степенность и неторопливость монастырского жилья, понятность и простота. Иисусову молитву теперь он знал наизусть. Даже забывал о ней, она лилась в его мыслях, как раньше крутился какой-нибудь неотвязный мотивчик. Иногда он ловил себя на том, что проговаривает молитву шепотом, но чаще ее вообще не замечал.

Безмерная тоска мраморною плитою давила на Виктора. Когда приехал за ним друг Виктор и про мать рассказал, Витька даже не испугался, настолько эта новость казалась ему невероятной. В дороге они разговаривали о разном, не касаясь главного — зачем и почему они едут в Москву. И когда простились на площадке, разошлись по своим квартирам, — вздохнули облегченно оба. Но не успел Витька раздеться и умыться, как прибежала Клава, захлебываясь плачем. Даваясь слезами, орала на Витьку, обвиняя его в смерти матери. Приехали! Клава от горя, наверное, такое придумала.

Но наавтра, когда ехали в морг, когда мать опускали в желтую глинистую яму, и ветер остервенело кидал в лицо жухлые листья и холодный дождь, Клава крепко держала его за руку, как маленького, и говорила другое: «Как мы, Витька, жить без матери твоей станем? Сиротины мы, Витька!» И только в эту минуту он осознал, что матери больше нет.

Машинист пробормотал: «Следующая — Чехов», и Витька пробудился от горестных видений. Что скрывать, он от матери давно отдалился. Еще в школе не пускал ее в свою жизнь, после Находки — тем более.

Находка! Как все весело начиналось! Познакомились они с Наташкой на концерте в Морском клубе. Почему эта смешливая круглолицая, темноглазая девчонка с рыжими кудряшками выбрала его из всех, на первый взгляд, одинаковой братии, Витька не задумывался, но с того вечера все увольнительные и самоволки проводил в небольшом домике в поселке Ливадия. Свадьбу сыграли сразу по окончании срочной, когда в животе у Наташки уже вовсю ворочался Егорка, постукивал пяточкой по Витькиной ладони, если положить ее на Наташкин живот. Жили там же, в Ливадии. Витька написал письмо матери, что останется в Находке навсегда, не сомневаясь ни одной минуты, что именно так и будет. Мечтал о кооперативе, чертил на песке пляжа расположение комнат. Только — аккуратно тогда, когда Егорка стал делать первые шажочки, и за ним нужен был глаз да глаз, — стал Витька замечать неладное. Придет с ночной, а с сыном сидит бабка, Викторова, стало быть, теща.

— Где, — спросит, — жена моя?

— У подруги.

— Всю ночь?

— Нет, нет, только ушла.

Это в девять-то утра! Виктор подозревал, что Наташка всю ночь где-то шлялась, — а как докажешь? Приходилось принимать на веру. Вытянет из холодильника бутылку пива, хлебнет из горлышка — и спать. Сквозь сон услышит, как Наташка к нему под бок заваливается, щекочет, за ухо прикусывает. И вроде запахи незнакомые от нее, а как сердиться? Любит!

Только дальше — больше. И ребята с работы как-то рассказали, что видели Наташку в том же Морском клубе с каким-то чуть ли не каптурангом. Виктор — в драку: что за сплетни! Напился тогда здорово, еле доплелся, на кровать рухнул. Но успел заметить — пустую!

Месяца полтора помаявшись, на прямой разговор Наташку вывел. «Ты что, Витюша, ты что!», — но в глаза не смотрит. А Витька опять себя пивом утешает. Помогает первое время, только потом еще больше. Однако втянулся, дня без пива прожить не мог.

Однажды неожиданно домой с работы вернулся — постель даже не разобрана, жены нет, Егорка (а ему, почитай, скоро три) на тещиной по-

ловине спит. Такая злость Витьку одолела! За дурака его держат! Давно все сладилось, только и ждут, наверное, когда он свалит. Так тому и быть! Дверью хотел шваркнуть напоследок, да в последнюю секунду притормозил, сына чтоб не напугать. В чем был, шагнул во влажную темноту Находки, как в черный омут, и уехал в Москву — как отрезал: будь что будет.

А была — темнота. Он выныривал из нее иногда, прислушивался к себе: где лучше? Там, в плотном темном беспамятстве, или здесь, где хлопочет над ним мать, где все реже вспоминается Егорка, где не хочется сползть со старого дивана? Ему стало все равно, и Витька не сопротивлялся, тонул и тонул — это проще всего...

Но теперь, когда стояла перед глазами желтая глинистая яма, Витька понял, что все это — монастырь, кодирование — он проделывал, точнее, позволял проделывать с собой только для матери, для ее спокойствия. А больше слушать никого не хотел — ни Клаву, которая его воспитывать пыталась, ни, тем более, этого мужика, нового материного мужа. На что он ему сдался!

А когда уже в гору поднимался, голову запрокинул, в тусклое небо посмотрел — расступилась тьма, далеко на востоке белым платком рассвело-забрезжило, словно женщина со светлыми волосами руки над Витькой крестом раскинула, а под ногами у Витьки — белый-белый песок.

«Господи Иисусе Христе, спаси и помилуй мя, грешного!»